



Наступил конец сентября, и целую неделю стояла идеальная солнечная прохлада. Каждое утро листва становилась все ярче, превращая горы вокруг Норумбеги в красочный переполох. Кампус выглядел так же, как в брошюре, которой я бредила, подавая заявление в Броувик: ученики в свитерах, ярко-зеленые лужайки, белые дощатые постройки, пылающие в лучах заката. Мне бы наслаждаться, но от этой погоды я не находила себе места, паниковала. После уроков я не могла угомониться, бродила из библиотеки в

комнату отдыха «Гулда», потом в свою комнату и снова в библиотеку. Где бы я ни находилась, меня тянуло куда-то еще.

Как-то после уроков я трижды обошла кампус и всякий раз оставалась недовольна: в библиотеке было слишком темно, в моей захламленной комнате — слишком депрессивно, а остальные места заполонили школьники, занимающиеся группками, что только подчеркивало мое вечное одиночество. Наконец я заставила себя остановиться на склоне лужайки за гуманитарным корпусом. *Успокойся, дыши.*

Я прислонилась к одинокому клену, привлекавшему мой взгляд на уроках литературы, и прикоснулась к своим горячим щекам тыльной стороной ладони. Я была так взвинчена, что вспотела, хотя на улице было всего десять градусов.

«Все в порядке, — сказала я себе. — Просто позанимайся здесь и *успокойся*».

Я села спиной к дереву, запустила руку в рюкзак и, проигнорировав учебник геометрии, достала блокнот на пружине. Мне подумалось, что я почувствую себя лучше, если сначала поработаю над стихотворением. Но, перечитав его — пару строф о девушке на необитаемом острове, которая призывает на берег моряков, — я поняла, что стихи плохие. Топорные, сбивчивые, практически бессвязные. С чего я взяла, что эти строки хороши? Как могла так ошибаться? Они были вопиюще плохими. Скорее всего, все мои стихи были плохими. Я свернулась в комок и стала тереть веки основанием ладоней, пока не услышала приближающиеся шаги, хруст листвы и ломающихся веток. Я подняла взгляд. Солнце заслонила исполинская фигура.

— Ну привет, — произнесла она.

Я загородилась ладонью от солнца — это был мистер Стрейн. Когда он заметил мои покрасневшие глаза, у него вытянулось лицо.

— Ты расстроена, — сказал он.

Глядя на него снизу, я кивнула. Похоже, лгать было бесполезно.

— Хочешь, чтобы я оставил тебя одну? — спросил он.

Поколебавшись, я отрицательно покачала головой.

Учитель тоже опустил на землю в нескольких футах от меня, вытянув свои длинные ноги. Под брюками проступили очертания коленей. Не сводя с меня взгляд, он наблюдал, как я вытираю глаза.

— Я не хотел тебе мешать. Заметил тебя из того окна и решил подойти поздороваться. — Он показал в сторону гуманитарного корпуса за нашими спинами. — Можно спросить, что тебя расстроило?

Я перевела дух, пытаюсь найти слова, но через секунду покачала головой.

— Слишком сложно объяснить, — сказала я.

Потому что дело было не только в том, что мои стихи никуда не годились, и не в том, что я не могла выбрать место для занятий, не выбившись предварительно из сил. Это было более темное чувство — страх, что со мной что-то не так и я никогда не смогу стать нормальной.

Я думала, что мистер Стрейн сменит тему. Но он просто дождался ответа, словно задал сложный вопрос на уроке. *Конечно, объяснить сложно. Трудные вопросы и должны вызывать у тебя затруднения, Ванесса.*

Я втянула в себя воздух и сказала:

— Это время года сводит меня с ума. Я чувствую, что вроде как мое время истекает. Как будто я понапрасну растрачиваю свою жизнь.

Мистер Стрейн моргнул. Я поняла, что он ожидал другого ответа.

— Растрачиваешь свою жизнь, — повторил он.

— Я знаю, что это бессмыслица.

— Неправда. Ты говоришь вполне разумные вещи. — Он оперся на ладони, поставив их за спиной, запрокинул голову. — Знаешь, будь ты моей ровесницей, я бы сказал, что у тебя, похоже, начинается кризис среднего возраста.

Он улыбнулся, и мое лицо поневоле последовало его примеру. Мистер Стрейн усмехнулся, я тоже усмехнулась.

— Мне показалось, ты что-то писала, — заметил он. — Получается что-то стоящее?

Я пожала плечами, не зная, хочу ли назвать свои потуги стоящими. Это казалось хвастовством. Не мне судить.

— Покажешь, что написала?

— Ни за что. — Я стиснула блокнот в руках, прижала к груди и заметила, что в глазах моего собеседника вспыхнула тревога, словно мое резкое движение его напугало. Я взяла себя в руки и добавила: — Просто я еще не закончила.

— Можно ли вообще закончить текст по-настоящему?

Похоже было на вопрос с подвохом. Секунду подумав, я сказала:

— Одни тексты могут быть более законченными, чем другие.

Он улыбнулся; мой ответ ему понравился.

— Так, может, покажешь мне что-то более законченное?

Я ослабила хватку и открыла блокнот. По большей части записи представляли собой полузаконченные

стихи с вымаранными и переписанными строками. Пролистав недавние страницы, я нашла стихотворение, над которым работала уже пару недель. Оно было не закончено, но и не ужасно. Я отдала мистери Стрейну блокнот, надеясь, что он не заметит закорючки на полях, ползущую вдоль корешка цветущую лозу.

Он осторожно держал блокнот обеими руками, и от одного вида моего блокнота в его ладонях по моему телу пробежала дрожь. Никто еще не прикасался к этим страницам, и уж тем более не читал, что там написано. Дочитав стихотворение, мистер Стрейн хмыкнул. Я ждала более определенной реакции, ждала, что он скажет, понравилось ему или нет, но он сказал только:

— Перечитаю еще раз.

Наконец он поднял взгляд:

— Ванесса, это чудесно.

Я громко выдохнула, начала смеяться.

— Как долго ты над ним работала? — спросил он.

Решив, что круче будет показаться гением-импровизатором, я невзначай соврала:

— Недолго.

— Ты говорила, что часто пишешь. — Мистер Стрейн вернул мне блокнот.

— Как правило, каждый день.

— Это видно. У тебя отлично получается. Я говорю это как читатель, а не как учитель.

От радости я снова рассмеялась, а мистер Стрейн улыбнулся своей нежно-снисходительной улыбкой.

— Разве это смешно? — спросил он.

— Нет, просто никто еще так не хвалил мои стихи.

— Ты шутишь. Это ерунда. Я могу сказать еще много хорошего.

— Просто я никогда еще не позволяла никому читать... — Я чуть не сказала «мою писанину», но решила употребить его слово: — Мои работы.

Повисла тишина. Мистер Стрейн снова оперся на ладони и принялся рассматривать открывавшийся перед нами вид: живописный центр города, далекую реку, пологие холмы. Я снова уставилась на свой блокнот. Мой взгляд был устремлен на страницы, но я ничего не видела. Я слишком ясно ощущала близость его тела, его покатый торс и натянувший рубашку живот, длинные, скрещенные в щиколотках ноги. Одна из его штанин задралась, обнажив полоску кожи между краешком ткани и походным ботинком. Опасаясь, что мистер Стрейн сейчас встанет и уйдет, я попыталась придумать, что бы такого сказать, чтобы он остался, но не успела: он поднял с земли кленовый лист, покрутил его за черенок и, на секунду задержав на нем взгляд, поднес к моему лицу.

— Смотри-ка, — сказал он. — Идеально подходит к твоим волосам.

Я замерла, почувствовав, как приоткрывается мой рот. Он еще мгновение подержал кленовый лист у моего лица; его уголки касались моих волос. Затем, чуть покачав головой, мистер Стрейн опустил руку, и лист упал на землю. Он встал, снова заслонив солнце, вытер ладони о бедра и, не попрощавшись, направился обратно к гуманитарному корпусу.

Когда он скрылся из виду, меня охватило помешательство, потребность сбежать. Я захлопнула блокнот, схватила рюкзак и помчалась к общежитию, но, передумав, вернулась и поискала глазами тот самый листок, который мистер Стрейн поднес к моим волосам. Спрятав его между страницами блокнота, я словно бы полетела над кампусом, только порой едва

касясь земли. Только у себя в комнате я вспомнила: мистер Стрейн сказал, что заметил меня из окна, — и зажмурилась при мысли, что он видел, как я ищу кленовый листок.

В следующие выходные я поехала домой на папин день рождения. Мама подарила ему щенка золотистого ретривера из приюта. Указанная причина отказа владельца — «слишком бледный окрас». Папа назвал щенка Бэйб, как свинку из фильма, потому что своим толстым пузиком и розовым носом она напоминала поросенка. Летом умерла наша старая собака — двенадцатилетняя овчарка, которую папа подобрал в городе, так что раньше у нас никогда не было щенка. Я настолько влюбилась в Бэйб, что все выходные носила ее на руках, как младенца, гладила ее мармеладные подушечки на лапках и нюхала ее сладкое дыхание.

Вечером, когда родители легли спать, я встала перед зеркалом в своей спальне, изучая свое лицо и волосы и пытаюсь увидеть себя глазами мистера Стрейна — стильную девушку с кленово-рыжими волосами, которая носит милые платья, — но увидела только бледную, веснушчатую девчонку.

В воскресенье мама повезла меня назад в Броувик, а папа остался дома с щенком. В замкнутом пространстве машины грудь у меня разрывалась от желания пооткровенничать. Но о чем тут рассказывать? Что он пару раз дотронулся до моей руки, сказал что-то о моих волосах?

Когда мы проезжали по мосту в город, я как бы невзначай спросила:

— Ты когда-нибудь замечала, что мои волосы одного цвета с кленовой листвой?



Мама удивленно посмотрела на меня.

— Ну, клены бывают разные, — сказала она, — и осенью все они окрашиваются в разные цвета. Есть сахарные клены, есть пенсильванские, есть красные. На севере есть колосистые...

— Неважно. Забудь.

— С каких пор тебя интересуют деревья?

— Я говорила не о деревьях, а о своих волосах.

Тогда мама спросила, кто сказал мне, что мои волосы похожи на кленовую листву, но, похоже, ничего не заподозрила. Голос ее звучал нежно, как будто она умилилась.

— Никто, — ответила я.

— Кто-то наверняка тебе это сказал.

— По-твоему, сама я заметить не могла?

Мы остановились на красном светофоре. Радиоведущий зачитывал сводку последних новостей.

— Я расскажу, если ты пообещаешь не беситься.

— Не стану я беситься.

Я пристально посмотрела на нее:

— Обещай.

— Ладно, — сказала мама. — Обещаю.

Я глубоко вздохнула.

— Мне сказал это кое-кто из учителей. Что мои волосы того же цвета, что листва красного клена. — Выговорив эти слова, я чуть не засмеялась от облегчения.

Мама прищурилась:

— Учитель?

— Мам, следи за дорогой.

— Мужчина?

— Какая разница?

— Учитель не должен говорить тебе такие вещи.

Кто это был?

— Мам.

— Я хочу знать.

— Ты обещала не беситься.

Она поджала губы, словно пытаясь успокоиться.

— Я просто говорю, что странно заявлять такое пятнадцатилетней девочке.

Мы проезжали город: кварталы пришедших в упадок и разделенных на квартиры викторианских особняков, безлюдный центр, разросшую больницу, усмехающийся памятник Полу Баньяну, который своими черными волосами и бородой немного напоминал мистера Стрейна.

— Это был мужчина, — сказала я. — Ты правда думаешь, что это странно?

— Да, — сказала мама. — Я правда так думаю. Хочешь, я с кем-нибудь поговорю? Пойду туда и устрою скандал.

Вообразив, как она врывается в административный корпус и требует поговорить с директрисой, я покачала головой. Нет, этого я не хотела.

— Да он и упомянул-то об этом между делом, — сказала я. — Не делай из мухи слона.

Мама немного расслабилась.

— Кто это был? — снова спросила она. — Я ничего не сделаю. Я просто хочу знать.

— Мой учитель по политологии, — не моргнув глазом соврала я. — Мистер Шелдон.

— Мистер *Шелдон*, — прошипела она так, будто глупее имени в жизни не слышала. — Как бы там ни было, тебе не стоит близко общаться с учителями. Сосредоточься на том, чтобы завести новых друзей.

Я смотрела, как за окном бежит дорога. Мы могли добраться до Броувика по междуштатному шоссе, но мама отказалась, заявив, что это гоночный трек,

полный озлобленных людей. Вместо этого она поехала по двухполосному шоссе, что занимало вдвое больше времени.

— К твоему сведению, со мной все в порядке.

Она, нахмутив брови, покосилась на меня.

— Я предпочитаю быть наедине с собой, — продолжала я. — Это нормально. Не нужно меня этим доставать.

— Я тебя не достаю, — сказала она, но мы обе знали, что это неправда. Через секунду она добавила: — Извини. Я просто за тебя волнуюсь.

Остаток пути мы почти не разговаривали, и, глядя в окно, я невольно чувствовала, что победила.